

Дмитрий Сиротин

Шла по небу  
лошадь

*повесть и рассказы*



БЕЛАЯ ВОРОНА  
ALBUS CORVUS  
Москва · 2023

ББК 84(2Рос=Рус)-44  
УДК 82-3  
С40

Сиротин, Дмитрий  
С40 Шла по небу лошадь / Дмитрий Сиротин. – М. :  
Белая ворона, 2022, 200 с.

ISBN 978-5-00114-310-9

© Д. Сиротин, текст, 2022  
© Т. Кормер, оформление обложки, 2022  
© ООО «Издательство Альбус корвус», 2022

## Содержание

### ШЛА ПО НЕБУ ЛОШАДЬ

|  |    |
|--|----|
| Он – кому-нибудь.....  | 9  |
| Она – ему.....   | 14 |
| Он – ей.....   | 18 |
| Она – ему.....   | 23 |
| Он – ей.....   | 29 |
| Она – ему.....   | 36 |
| Он – ей.....   | 43 |
| Она – ему.....   | 51 |
| Он – ей.....   | 58 |
| Она – ему.....   | 68 |
| Он – ей.....   | 76 |
| Его мать – своему другу.....                                 | 82 |
| Его отец – сестре в Москву.<br>Несколько аудиосообщений..... | 89 |
| Она – ему.....   | 96 |

### РАССКАЗЫ

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Приснись, жених, невесте..... | 109 |
| Волшебный мост.....           | 121 |
| Рельсы в куда-нибудь.....     | 133 |
| Три селедки.....              | 145 |
| Пианино летит из окна.....    | 159 |
| А вот и я!.....               | 169 |
| Дедушка с двумя головами..... | 185 |

## *Он – кому-нибудь*

Да, интересная штука. Отправляешь письмо в пространство – и любой может прочесть. И ответить. Если захочет, конечно. Но на мое письмо никто не захочет отвечать. Зачем тогда отправляю? Сам не знаю. И само говорить особо ни с кем не хочу.

Просто интересно стало. Каких только приложений не придумают. Теперь вот это «ВНикуда». Да, пишешь сообщение, отправляешь сам не знаешь куда – и любой, кто в приложении зарегистрирован, может тебе ответить. Может, конечно, какую-нибудь гадость написать. Но может и что-то хорошее. Если хорошее – может завязаться переписка. Если завяжется переписка – можно с кем-нибудь подружиться. А зачем? Да вот сам не знаю.

Ну ладно. Попробую рассказать о себе.

Меня зовут Серафим. Папа так назвал меня в честь своего отца, моего дедушки. Дедушка был военным. Я никогда его не видел, то есть видел, но не помню: совсем мелкий был, когда дедушка умер.

Только фотка сохранилась одна: дедушка уже сильно старый, лежит уже, не встает и держит меня на руках, совсем мелкого. А я смотрю и ничего не понимаю: что за старик такой?

Это было в День Победы, мама говорит. Родители приехали со мной к дедушке на праздник. Дедушка держал меня на руках, руки тряслись от болезни и старости,

а может, и от тяжести, хотя я легкий был, иначе бы меня такому больному дедушке не дали... Да, держал меня и что-то мне говорил. Не помню что. Наверное: «Вот, внучок, расти большой, вырастай, будешь солдатом, как я и как твой батя. Будешь Родину защищать».

Потом я чего-то разревелся, тоже не помню почему, может, испугался старика незнакомого. И мама меня поскорей забрала с дедушкиных рук и понесла на кухню к бабушке, пить чай. Хотя — какой чай в четыре месяца? Наверное, я молоко пил какое-нибудь. А они — чай. А то и что покрепче. Потому что папа потом сильно шумный был, пока домой шли.

Мама катила меня в коляске, а отец все что-то говорил громко и говорил. И мне очень не нравилось, что он так громко говорит, и я все хныкал в этой коляске, закутанный с ног до головы, потому что хоть и девятое мая, а все равно холодно. На Крайнем Севере всегда холодно.

Да, это было в мае. А в августе дедушка уже умер. И теперь я вижу его только на фотографии, он висит на стенке, у него на груди медали. Он висит и смотрит на меня. И я на него смотрю. Иногда мне хочется протянуть к нему руки, чтобы он снова меня взял. Хотя я уже довольно большой и он бы меня точно не удержал.

Просто на той единственной фотографии, где мы с ним вместе, он очень по-доброму выглядит. На стене — молодой, крепкий и строгий, а на той фотке, на той единственной, где я с ним, — он старенький и худенький, улыбается сквозь белые пышные усы, и лицо такое сморщенное, все в каких-то царапинах и точках. Он просто падал часто.

Папа рассказывал, что он падал тогда уже все время. Мог сидеть на кухне, курить, и вдруг — бабах! И в обморок.

Бабушка кричала от неожиданности и ужаса, бежала к нему: «Стасик! Стасик! Сказал же доктор — не курить! Будь ты проклят!»

Она не от злости проклинала дедушку, просто ей страшно было. Она же понимала, что он не виноват. Как бросить курить, когда куришь полвека уже? У дедушки была тяжелая жизнь, он участвовал в боевых операциях, и вместе с бабушкой они переезжали из города в город много лет. Пока наконец здесь не остались и дедушка в отставку не вышел.

Она кричала: «Стасик! Стасик!» — а он медленно открывал глаза, подымался с рассеченной бровью или там с разбитым лбом и тоже тихо ругался. На болезнь свою, и на бабушку, и на курево — что так это все тяжело, но ничего из этого уже не бросишь.

Я не знаю, зачем и кому я пишу. Какая же фигня! Ну так, пишу и пишу. Не ответит никто — и не ответит. Да, меня зовут Серафим. И я учусь в девятом классе. Мои родители — музыканты. Мама в музыкальной школе работает, она концертмейстер и еще фортепиано преподает. А папа в военном оркестре играет. На барабанах. И вообще на всех ударных инструментах. Это не так просто, как кажется. Не просто — бум-бум в барабаны или там дыщ-дыщ в тарелки.

Это нужно чувство ритма очень хорошее. И сила, и выносливость. И много чего еще. А в военном оркестре платят папе немного, и он еще подрабатывает. В храме

поет. Да и мама подрабатывает: частные уроки дает фортепиано. А куда деваться. Денег нет, но вы держитесь.

А я учусь... Типа. Ну, в общем, пока хватит. Отправляю. И подожду немножко. Если, например, сегодня никто не ответит — еще ладно. Если завтра — тоже ладно. А если до воскресенья — просто удалюсь из приложения этого, да и все. Подумаешь. Как будто мне очень это надо. Никакого желания нет разговаривать. Тем более непонятно с кем. Я вообще неразговорчивый. Папа любит поговорить, особенно когда после какого-нибудь торжественного концерта придет, или там с похорон, или со свадьбы. Их оркестр же где только не играет, чтоб заработать.

Если, например, какой-нибудь военный умрет или, наоборот, поженится — они тут как тут. Бум-бум, дыщ-дыщ, а потом, естественно, бульк-бульк!

Папа рассказывает, музыкантам дают отдельный стол обычно после выступления, и вот они там все бульк-бульк. А потом возвращается домой и болтает, прямо не заткнуть, извиняюсь.

— Эх, Серафимка, что-то ты не такой какой-то! Не в деда пошел, не в меня! Никакого в тебе интереса ни к музыке, ни к армии! Мать, ты его от кого нагуляла, признавайся?

Мама тогда морщится и уходит играть на пианино в их комнату. Готовится к какому-нибудь концерту или там к уроку.

А папа все болтает и болтает. Что — какой-то я не такой. И вообще ничем в жизни не интересуюсь. Даже девочками. Что подозрительно и — не дай бог!

Ну а мне что делать. Слушаю, киваю, мечтаю, чтоб он поскорей уже спать пошел. Но он еще долго не уходит,

ему хочется поговорить, а мама с ним с таким не разговаривает. Вот он на мне и отыгрывается.

Так, я хотел уже закончить, но опять расписался чего-то. В общем, до воскресенья жду, потом удаляюсь. И, как говорит папа, когда наконец уходит спать: «На этом — кода!»

Здравствуй, Серафим. Не удаляйся, пожалуйста. Какое интересное приложение, правда. Я случайно увидела твое письмо. Прочитала и решила сразу ответить. Меня зовут Соня. Я живу в Израиле. Мы уехали сюда недавно, но я уже учусь в школе. В русскоязычной. Хотя иврит тоже учу, конечно. Но ничего почти не получается, если честно.

Мама говорит, что у нас нет способностей к языкам. Родители ходят, ходят в ульпан, это такая школа, где учат ивриту, но у них тоже не особо получается. Непривычно. Все слова пишутся задом наперед, не так, как в России. И буквы непривычные. И слова. Но кое-что уже знаю. Например, бокер тов. Это значит – доброе утро.

Тут утром просыпаешься от этих криков. Все на улице кричат друг другу: «Бокер тов!» А, еще: «Ма нишма?» Это значит – «Как дела?» Меня так бесит это. На рынок даже приходишь, и продавцы все: «Ма нишма?» Как будто им дело есть... И по улице идешь, незнакомые люди тебе кричат: «Ма нишма?» С одной стороны – прикольно, вежливые такие. Делами интересуются. Но с другой – им все равно, конечно. Просто такая вот традиция. Типа интересоваться, как у кого дела.

Тут и дворники спрашивают у тебя, как дела. И вообще все. И врачи. Я просто лечусь тут. Мы потому и уехали, если честно.

Меня в России никак не могли вылечить, а тут, может, получится. Только тут долго надо ждать, пока врач примет. Мы три месяца ждали. Ну, врач принял вчера как раз, выписал всякие обследования.

Мама ему говорит:

– Да у нас это все есть, мы в России уже обследовались-переобследовались.

А врач:

– Забудьте про Россию, я вас умоляю. Это такая страна... Как вас там лечили, это не считается. Это бедная страна во всех отношениях, я вас умоляю!

Смешной такой.

В общем, завтра у меня МРТ. Это обследование головы. Я в России делала. Страшновато. Ложишься в такую большую длинную штуку, тебя задвигают, не до конца, конечно, но все равно неприятно. Тебя задвигают, и ты там лежишь в темноте.

Ну, дают грушу специальную в руку: если совсем страшно, чтоб ты нажал на нее, и тогда тебя оттуда назад выдвинут. Но если глаза закрыты, то можно потерпеть. Там всякие звуки вокруг тебя, всякий свет мигает, очень неприятно, но потому и неприятно, что болею... Для того и проверяют.

И, чтобы не было так неприятно, я представляла, что лежу в космическом корабле. Корабль отправился в космос – например, на Марс... И вот я лежу и лечу, все ближе к Марсу подлетаю, а вокруг все мигает, все гудит... Прикольно даже! И совсем скоро корабль приземлится на Марсе. И вот он приземляется, и все заканчивается. Я даже на грушу не нажимала.

Просто меня выдвинули обратно и сказали:  
— Спасибо, свободны!

У меня просто что-то с головой. Она меня не слушает. Мне часто бывает очень грустно. Сперва нормально, а потом грустно, так грустно, что не знаю, как с этой грустью справиться. И я тогда плачу, плачу целыми днями. И в школе плакала, вообще учиться не могла. Врачи говорили сперва: возраст переходный, пройдет. А у меня не проходило. И такая тоска наваливалась, что ни есть не могла, ничего. Просто лежала и ревела. А вроде не с чего. Ну, учусь кое-как, но не смертельно же это. И родители нормальные. Друзей, правда, нет, но у меня их никогда и не было почти. Мне с ними неинтересно как-то. Девчонки о парнях да о парнях, или про косметику, или про сериалы. А я не могу ничего смотреть, никаких сериалов. И фильмы не могу. И читать. Вообще ничего не могу. Такое вот состояние. Беспокойное и тоскливое.

В общем, хватит про это. Ты и так уже перепугался, что такая больная на голову девочка ответила. Мне просто тут одиноко как-то. Русская речь редко, а родители всё работают, работают... Тут очень дорого квартиры снимать. А свою купить вообще невозможно, надо миллионером быть.

И мама с папой за меня к тому же всегда переживают очень. У меня в России на МРТ нашли врожденное отклонение в голове, так что оказалось, не в переходном возрасте дело. Завтра еще здесь пройду МРТ и тогда напишу, что скажут.

Вообще, глупо, конечно. Какому парню интересна больная девчонка, и вообще про болячки. Ты-то, надеюсь,

здоров. Если не очень здоров — папа говорит, что в России здоровых нет от такой жизни, — желаю тебе здоровья крепкого!

И очень сочувствую, что дедушка умер. Это плохо, когда дедушка умирает. Мой дедушка тут, в Израиле, давно живет, мы у него и остановились сперва, когда приехали... И вот, даже не представляю, как буду, когда его не станет. Хоть он и вредный.

Да, и с папой сочувствую. Надеюсь, он не будет так часто выпивать и выносить вам с мамой мозг. А вообще, музыканты — это здорово! Я очень люблю слушать фортепиано. Жаль, что способностей нет. Ни к музыке нет, ни к языку. Вообще ни к чему. Даже письмо это писала целых три дня! Вот ведь. Ну, я решила поступить как ты: подожду несколько дней и, если не ответишь, удаюсь отсюда.

А пока — лайла тов. Это значит на иврите — спокойной ночи.

*Соня*

Соня, привет! Как здорово, что ты ответила! Я так рад был! Ведь правда уже собрался удаляться, а тут – ты! В общем, во-первых, не переживай, совсем я не в шоке, что ты такая... не такая, в общем, как все. Я, если хочешь знать, и сам не такой. Ты все-таки там учишься, как-никак. А я тут вообще не учусь. В прямом смысле. Вообще не хожу в школу. Родители не знают, конечно. Я уже давно только вид делаю. Родители на работу собираются, а я типа в школу. Они уходят, а я не ухожу. Блин, как же мне стыдно в этом признаваться! Я лентяй? Может быть. Но я просто не понимаю, я не понимаю, зачем школа, зачем все это. Я не понимаю, зачем мы должны сидеть и учиться, учиться, нам ничего из этого не пригодится потом, а главное – меня достали там все.

Они меня бесят – и потому что орут все время, и потому что говорят о всякой ерунде, и потому что тоже не учатся толком, только вид делают, а сами потихоньку в телефонах на уроке зависают. Я читал, депутаты хотят запретить школьникам телефоны на уроках. Может, и правильно. Только запрещай не запрещай – толку с этой учебы не будет. Ни нам школа не нужна, ни мы ей.

И я однажды сидел на уроке, на химии, химичка все что-то говорила, говорила, все какие-то формулы чертила, и я смотрел на доску и, как всегда, вообще ничего

не понимал. Химичка нарисовала на доске два каких-то больших круга по краям, а в середине круг поменьше и решила вдруг спросить у меня, что это.

– Чайкин, опять ты в прострации? Ты вообще понимаешь, что тут происходит?

Я вру по привычке:

– Конечно.

Она:

– Ну, тогда скажи, что я сейчас на доске изобразила!

А я знаю что? Два больших круга по краям, в середине круг поменьше... На голову Чебурашки похоже. Я и говорю:

– Вы изобразили Чебурашку.

Все как заржут, а химичка обиделась и говорит:

– Тебе, Чайкин, вообще на все наплевать. Мало того что ничего не соображаешь, так еще и издеваешься. Молчал бы лучше.

Я говорю:

– Так я бы и молчал, вы же сами спросили.

В общем, очередная двойка.

Кончились уроки, вышел я из школы, а вокруг орут все, орут... Кто дерется, типа в шутку, кто на гору полез... У нас снежные горы везде, и возле школы тоже каждую зиму наметает. Я, когда поменьше был, тоже дрался и на гору лазил.

Ну, мы не серьезно дрались, просто прикалывались, интересно было, кто кого поборет. Я всех почти борол, между прочим. Не хвастаюсь, просто говорю... И Макса Трошкина борол, и Даню Габова, всех-всех... Я тогда еще дружил просто. Сейчас уже нет друзей давно, как и у тебя. Тем более в школу не хожу.



Да, я боролся, потом весь мокрый домой приходил, ранец кидал — и в школу музыкальную! Меня тогда еще родители заставляли ходить в нее. Сольфеджио там всякое, пианино, хор... Но мне жутко это все не нравилось! Во-первых, мокрым идти в музыкальную школу по морозу совсем не приятно. Во-вторых, я от усталости там всегда засыпал. А главное, как и в обычной школе, тоже ничего не понимал.

И на пианино играть не получалось, не мог понять ничего в нотах, и петь не получалось, все как-то мимо нот, так что даже руководитель хора однажды попросила меня не петь, а только рот открывать. Представляешь: я один весь хор сбивал! Круто, скажи?

И в сольфеджио ничего не понимал, все чего-то поют, а я сижу как дурак и засыпаю. Ну, в конце концов родители поняли, что я не в них и музыка — совсем не мое. И решили так: подрастет — сам поймет, что ему надо. И на том им спасибо. Хотя папа, конечно, очень злился. А мама расстраивалась. Они думали, что я династию продолжу, а я не оправдал.

Они тогда сказали: ну ладно, больше времени на учебу останется. В обычной школе. Учись, сынок, и все такое.

А я и тут их подвел. Только они об этом не знают.

Каждый день я собираюсь в школу и остаюсь дома. И так уже месяц, наверное. В школе, конечно, меня потеряли, классная уже давно спрашивает у пацанов, что и как, может, они в курсе.

И Макс Трошкин с Даней Габовым ко мне как-то в воскресенье пришли. Я быстренько их в коридор вытолкал, чтоб родители ничего не услышали, и соврал, что болею. Очень серьезно болею и вот лечусь.

Даня Габов недоверчиво так посмотрел и говорит:

— А чем это ты болеешь? Вроде здоровый.

Я обозлился и говорю:

— Что я, по-твоему, башку под мышкой должен держать? Или на инвалидной коляске выехать? Болезни разные же бывают. Какие-то видно, какие-то нет.

Макс Трошкин говорит тогда:

— Так нам же надо Викторовне сказать, чем ты болеешь. Ты хоть намекни, брат.

Викторовна — это классуха наша.

Я и брякнул:

— Психика.

Они сразу подальше от меня отошли.

Даня Габов:

— В смысле, психика? Ты псих, что ли? Вроде нормальный.

— Сам ты псих, — я говорю. — Я что, должен был в туалете выйти и представиться: «Наполеон Бонапарт!»? Или кусаться начать? Психические болезни разные же бывают.

Макс Трошкин тогда:

— А у тебя — какая?

— Лучше вам не знать, — говорю.

И вздыхаю.

Они еще дальше отодвинулись. И смотрят на меня жалостливо. Даже мне себя жалко стало. Но больше, конечно, стыдно. Что вру. А сам тупо прогуливаю.

В общем, ушли они озадаченные, а я теперь больше всего боюсь, что классуха решит родителям позвонить. По идее, уже давно должна была. Но, может, не торопится,

потому что я учусь вообще никак. Нет меня — и слава богу. А то еще разбираться, что за болезнь, жалеть, думать, как экзамены у меня принимать...

Так и живем. Сам не знаю, зачем про это рассказал, но я почему-то не могу тебе врать. Всем могу — и родителям, и Максус Даней, и классухе... А тебе почему-то не получается, хоть мы и не знакомы с тобой почти. Странно. Может, это потому, что ты мне тоже сразу всю правду рассказала о себе? Ты не болей, по возможности хотя бы. Пусть все наладится.

Да, и, кстати, бабушку мою тоже звали Соня. Я думал, редкое имя. А оказывается, ты тоже Соня. Это круто.

В Израиле всегда жарко, наверное? Везет. У нас всегда дубак. Пиши, пожалуйста. Если не передумаешь после моей правды.

*Серафим*

*Она — ему*

Здравствуй, Серафим! Ну и очень зря ты переживаешь, что испугаюсь твоей правды. Если честно, я тоже в школу не хожу на самом деле. Соврала, а зачем, не знаю. Страшно быть не такой, как все. А теперь я вижу, что ты тоже как я. То есть — не такой. Поэтому — вот тебе правда.

Не хожу я ни в какую школу. Потом, когда препараты подберут, станет полегче, и тогда пойду, может. Пока не могу никуда. Это ужасное состояние, когда так плохо, так плохо, что только плачешь и плачешь. Как мне жалко родителей, они со мной так мучаются, но я ничего, ничего не могу с собой поделать.

Мне так тяжело об этом писать, что лучше не буду. Надеюсь, ты меня поймешь как никто.

А слог у тебя хороший, прямо писательский. Ничего читать не могу, а тебя вот читаю.

А в Израиле да, жарко, но только когда весна-лето-осень. А зимой жутко холодно дома. Потому что тут в домах нет батареек. Правда, есть такая штука, называется мазган. Это такой кондиционер. Висит под потолком у всех тут. Его включаешь — и греешься. Но электричество очень дорогое, и часто его не повключаешь. Папа говорит, что за зиму мазган нас разорит. Так что приходится мерзнуть в основном. Скорей бы зима кончилась!

Я скучаю по России. Там снег и мороз, а в доме зато тепло. Там моя бабушка осталась, мамина мама. Она уже старенькая и болеет все время, и мне жалко, что, может, больше не обниму ее никогда.

Да, мне сделали МРТ. Ничего не сказали, все на иврите написали, говорят — несите врачу, он объяснит. Так что теперь опять долго ждать. Папа и мама работают пока в кафе. Там не надо особо иврит знать. Готовят солдатам всякие бургеры.

Здесь очень много солдат. Здесь служат все, даже девушки. Даже не представляю, как я тут служить буду... Лучше про это не думать.

Господи, Серафим, как мне плохо. Как тяжело писать, что-то рассказывать... Ты скажешь: ну не пиши тогда! За чем пишешь, мол? А не писать тоже тяжело.

У хозяйки нашей квартиры есть собака, ее зовут Бекки, она большая, боксер, большая и очень грустная. Такая грустная морда, знаешь... Хозяйка выводит ее гулять и прямо тащит каждый раз по ступенькам вниз — так Бекки боится выходить на улицу. Ее напугали когда-то сильно.

Хозяйка говорит, что нашла ее однажды на море. Просто бегала собака и бегала. И вся дрожала от страха. И хозяйка тогда поняла, что собака ничья и что ей очень плохо. И взяла ее к себе жить.

Прямо с моря повезла. В машине.

Бекки испуганно к сиденью прижалась и так и ехала, дрожала.

Большая коричневая собака. Бекки.

В первый день, когда мы только переехали, хозяйка, ее зовут Ида, показывала нам фотографии. В России она жила бедно и грустно. И там не было моря. То есть море, конечно, было, но до него надо было долго-долго ехать на поезде. А тут — прямо в двух шагах!

И когда стало совсем бедно и грустно, а все вокруг уезжали, уехала и она. Все бросила — и работу, и мужа... Ида музыкант тоже, кстати, как твой папа с мамой. В филармонии работала.

А здесь — квартиры убирает. Но за одну уборку получает столько, сколько за месяц получала в филармонии. Если на российские деньги перевести. Да это и неважно. Просто ей там было плохо. И с мужем ругались, и прочее... Муж был русский и все подкалывал ее насчет ее национальности. А ей же обидно. Зачем тогда женился, если евреи не нравятся. Ну и много чего...

В общем, она уехала. И много лет тут живет. Квартиры убирает, в море каждую пятницу купается... Что еще надо?

И вот Ида показывала нам фотки. Большой-большой альбом, из России. Там и дом ее, и филармония, и муж бывший, и много-много кто и что... И мне от мелькания цветных фоток вдруг стало плохо. Снова приступ начался.

Знаешь, это такое дело... Все нормально вроде — а потом внутри тебя что-то выключается вдруг. Как будто свет потушили. И тебе становится очень-очень плохо. Так плохо, что хоть вой.

И я тогда быстро ушла лежать в маленькую комнату. Лежала и плакала, так было плохо. Хорошо только, что на улице было уже темно, потому что от света мне еще

хуже. Я прямо как вампир: совсем не могу на свету, когда так плохо. А так — в комнате свет не включала, и во дворе тоже темнота была, и то хорошо.

И я лежала, плакала и тихонько стонала.

А потом почувствовала легкое колыхание в воздухе. Кто-то вошел в комнату ко мне осторожно. Я с трудом повернулась и увидела Бекки.

Бекки положила морду на кровать и стала смотреть на меня. Грустно и внимательно. И мне казалось, что она все понимает. И очень хочет мне помочь.

Она смотрела на меня своими большими печальными глазами, и я тихонько погладила ее по коричневой морде. Бекки поудобней устроила голову под моей ладонью, и я лежала, плакала и гладила ее по большой глазастой голове. Гладила, и плакала, и смотрела ей в глаза, а она — в мои. И мне казалось, что собака, чужая собака, о существовании которой я узнала только сегодня, понимает меня сейчас лучше, чем все, все, все... Даже лучше, чем я себя понимаю.

Я гладила, и успокаивалась потихоньку, и так и заснула, с ладонью на ее голове...

А утром было уже полегче.

И я пошла в душ, в Израиле нет горячей воды, вода нагревается просто от солнца. На крышах домов стоят баки, и холодная вода в них от солнца греется. А зимой надо включать эти баки, специально разогревать. Тут не так просто, как в России, — захотел в душ и пошел. Надо еще ждать, пока вода нагреется...

В общем, я вышла из душа уже довольно бодрая, даже веселая, и Бекки ко мне подбежала, стала заглядывать

в глаза своими глазищами, и я ее снова погладила и пошла с ней гулять. Хозяйка Ида просит с ней гулять, пока она на работе. Раньше ей проблемно было: соседней разных приходилось просить с Бекки гулять, а соседи люди часто ненадежные. А теперь есть я. Хоть какая-то от меня польза.

Бекки очень пугливая, да, я же говорю, ее кто-то напугал раньше, видимо. Она боится и улицы, и других собак, и арабов, и машин, и громких хлопков (тут арабский район и часто что-то празднуют, салютами гремят). И мне приходится все время ее успокаивать, чтоб она хотя бы дела свои на улице сделала, а не сразу обратно в дом кидалась.

Но я не устаю успокаивать Бекки, я очень благодарна ей за тот первый вечер, когда она меня жалела, когда я плакала в чужой, незнакомой стране, в незнакомом городе... Никто не пожалел — ни мама, ни папа... Хотя — им, наверное, просто неудобно было. Раз хозяйка показывает фотографии — надо смотреть. Из уважения. Тоже можно их понять.

А потом папа у хозяйки Иды спрашивал, как тут людей ищут. Он все-таки не теряет надежды найти своего отца.

С отцом — странная история у него, конечно. Он его давно уже ищет, знает только, что отец в Израиле много лет, а где — понятия не имеет. И в России искал через какие-то службы поиска, и интернет весь облазил... Нет и нет. Он знает, что у отца другая семья давно, жена, дети... Пусть он даже умер, например. Но жена, дети — не могли же все помереть. Кто-то где-то должен быть в интернете! Но никого нет почему-то. Так что у меня

в Израиле цель — вылечиться, а у папы, кроме того, чтоб вылечить меня, — найти наконец своего отца.

Мама ему говорит: да зачем он тебе? Он же вас бросил бог знает когда, и не общается, и ничего... Оставь человека в покое! Но папа почему-то не успокаивается. Идея фикс у него: найти отца. Ну, пусть. Мне бы тоже хотелось второго дедушку. Дедушка по маме тут — ничего, но очень религиозный. То нельзя, это нельзя. Про бабушку, бывшую жену свою, которую в России оставил, всякие гадости говорит... Честно говоря, не очень приятный...

Ты пиши, Серафим, рассказывай все как есть. Ничего не стесняйся. Видишь, я сама такая... Что называется, нашли друг друга.

Но я верю, что все будет хорошо.

Лайла тов!

*Соня*

*Он — ей*

Привет, Соня. Спасибо тебе за письмо!

Ты очень хорошая, все пиши и рассказывай. Не стесняйся.

Я вот уже месяц сижу дома. И не стесняюсь тебе про это говорить. Знаю, что поймешь.

Папа, мне кажется, начинает что-то подозревать. Мама вечно в учениках и своем фортепиано, а папа вчера опять пришел со свадьбы веселый и полез с разговорами. Опять — что я непонятно в кого и ничем не интересуюсь, ни музыкой, ни спортом, и вообще, странный я какой-то... И вдруг внимательно так на меня посмотрел, мне аж страшно стало. И говорит:

— Слушай, брат, а ты в школу-то вообще ходишь?

Я похолодел. Кивнул побыстрей — мол, хожу.

Он тогда:

— Ты смотри... Не хватало еще тебе школу не окончить. Ты давай, учись. А там пристроим тебя куда-нибудь. Жаль, конечно, что с музыкалкой у тебя труба. А то бы в оркестр к нам пошел. Учился бы параллельно в колледже музыкальном и работал... А чего? Эх, Серафимка, в кого ты только такой... никакой? На этом — кода!

Но «коды» еще долго не было, он все говорил и говорил. А тут и мама пришла с работы, уставшая и злая.

И он, слава богу, на нее переключился. Опять стал спрашивать:

— Мать, в кого наш сын?

И мама аж зубы от злости сжала и сказала:

— Как же ты достал!

Ну, и дальше они стали между собой ругаться, и я под это дело выскользнул из кухни и убежал к себе в комнату.

Я не знаю, почему я стал такой. Почему не могу никуда ходить и ни с кем почти говорить, и только сижу и сижу в комнате. И вру. Вру, вру и вру. Родителям вру, что учусь. Макс с Даней и классухе — что болею. Себе... Себе вру, наверное, что — все это не просто так. И я для чего-то стал вот такой неправильный. А потом вдруг выясняется, что я какой-нибудь гений. Правда, непонятно, в какой области. Просто слишком страшно осознавать, что все это — просто потому, что я никчемный. Или «никакой», как папа говорит.

Кто знает, для чего это все? Может, и правда, я потом великий человек буду и мне поэтому сейчас, в детстве, так тяжело? Многим же великим было тяжело в детстве, они были не такие, как другие дети.

Вот и я не такой.

Может, конечно, это страхи. Я на самом деле очень много боюсь. Ты даже не представляешь, Соня, как многого я боюсь. Я ужасный трус. А признаваться в трусости последнее дело, тем более девчонке. Почему же я тебе признаюсь? Почему ничего не могу от тебя скрыть, да и не хочу? Может, потому, что мы с тобой никогда не увидимся. Ну, или потому, что ты в любой момент

можешь прекратить нашу переписку, просто не ответить, да и все. А навязываться я не буду. И от этого как-то легче.

Да, я боюсь — например, тараканов. Тут у нас их мало, а вот летом ездили к папиной сестре в Москву, у нее этих тараканов... И такие здоровые! Дом старый да возле магазина, там постоянно они кишат в мусорках... И я так их боялся!

А тетя Ира, папина сестра, надо мной смеялась:

— Эх, здоровый лоб, а таракашек шугаешься! Как в армии-то будешь?

Но я все равно их шугался и в туалет боялся из-за них ночью ходить даже. Ночью свет включаешь — и они прямо врассыпную! И на кухне тоже. Включишь свет — а они на плите сидят и на тебя смотрят. Я прямо вижу, что смотрят. Бр-р-р. Ну и кто я после этого? Трус, трус и трус!

И пьяных боюсь. Вообще мужчин. А особенно пьяных. И папу боюсь поэтому, когда приходит после своих свадоб и похорон. Потому что не знаешь, чего от него ждать.

Он пьяный совсем не такой, как трезвый. Трезвый он молчаливый, сидит вечно в телефоне. А как выпивший — сразу то ко мне, то к маме цепляется. Понятно, он переживает, что я не в него. Но что ж мне теперь, повеситься, что ли? Себя-то не переделаешь. Не нравится мне музыка, и не понимаю я в ней ничего.

Мама тоже расстраивается из-за этого всего. Однажды она папе сказала:

— Как так можно, родная сестра у тебя в Москве, а мы тут на краю земли корячимся, выживаем кое-как! А у нее,

между прочим, трехкомнатная! Хоть и на окраине. Была бы у тебя сестра человек, могла бы нас принять, и Серафим бы, может, нашел себя! В Москве все себя находят.

Папа усмехнулся:

— Да уж... Находят... Одни извращенцы. Тьфу! И вообще, сестра не родная, а по маме только. Не могу ж я ей: будьте-здрасте, мы к тебе жить переезжаем!

— Да ты вообще ничего не можешь, — ругается мама. — Только в барабан свой бить.

— Ну ты тоже не Рахманинов, — папа ей говорит. — Ты что, думаешь, тебя в Москве с руками оторвут? Таких панистиков, как ты, там вагон и маленькая тележка, и всё, на этом — кода!

Так и живем.

А я боюсь пьяных. От них не знаешь, чего ждать. Я их вижу на улице, они шатаются, бурчат что-то или кричат, ко всем пристают и ко мне могут пристать, а я не знаю, что им ответить.

И темноты боюсь. Однажды, когда я еще дружил, мелкий был, я пришел к Максиму Трошкину на день рождения. И мы играли в прятки. Или не в прятки? В общем, не помню уже, что было. Но как-то так получилось, что я оказался запертым в ванной. Без света. Кто-то меня запер. На швабру. То ли в шутку, то ли случайно... И мне стало так страшно, так страшно, что — темно вообще без просвета, как будто ослеп. И я стал тихонько стучать сперва, мол, откройте, но они не слышали, и бегали там, за дверью, и хохотали. И я стучал все громче и громче, у меня началась паника. Мне казалось, что темнота меня

душит. Очень тяжело стало дышать. Да в ванной и правда было душно.

И я уже бил, бил в дверь, бил изо всех сил и кричал: «Откройте! Откройте!! Ну пожалуйста, откройте!!» Бил, как, наверное, мой папа бьет в свой барабан...

А они все бегали, смеялись и не слышали. Или делали вид.

И наконец мама Макса меня открыла. Услышала. И долго потом на него ругалась и на всех. Что шутки дурацкие. А я весь трясся и все не мог надышаться после темной душной ванной.

И с тех пор я боюсь темноты.

И собак боюсь, да. Ты вот пишешь про Бекки. И я прямо вижу ее. Какая она хорошая, добрая собака. Большая и глазастая. Но — я бы и ее испугался, прости. От собак тоже не знаешь, чего ждать. Могут подставить голову, чтоб погладил, а потом как укусить! Или резко залаять, так что аж подпрыгиваешь.

Или вообще на куски разорвать.

У нас тут бывают случаи...

Из нашего города бегут куда только могут, квартиры иногда бросают целыми подъездами. И собак своих бросают. И вот эти собаки потом сбиваются в бродячие стаи. Становятся агрессивными, бешеными во всех смыслах.

И нападают. На детей, на женщин. Из школы вечером бывает страшно идти. Окружат стаей и начнут рычать и приближаться. И потом схватят и станут грызть.

Может, я еще и поэтому перестал в школу ходить? Чтоб обратно вечером не возвращаться? Может быть.

Хотя я бы и так не ходил. Там слишком все чужое и все чужие.

Есть только одна девчонка. Как-то неудобно тебе писать об этом, но она мне нравится. Очень. Она тоже музыкант, кстати. И очень хорошо в музыкалке учится. Я вот и полгода там не смог проучиться, а она отличница. И мама моя у нее как раз преподает. Фортепиано. Бывают такие совпадения, да.

И мама часто про нее рассказывает — вот, мол, какая хорошая девочка, талантливая, умная, скромная, трудолюбивая, не то что некоторые... И как хорошо, что она в твоём классе учится. Был бы ты не такой нелюдимый, дружил бы с ней. Так бы хорошо было!

А я бы и так дружил. Но просто... Я и ее боюсь. Мне страшно к ней даже подойти. Все внутри сразу переворачивается. А теперь я в школу давно не хожу, и она, наоборот, вообще забыла о моём существовании.

В общем, я всего боюсь. Даже того, что — люблю.

Даже лифта боюсь. У тети Иры в Москве лифт когда едет, мне все кажется, что он застрянет. И я готов был подниматься пешком по ступенькам, хоть и на восьмой этаж, тем более спускаться... Но неловко было. И ехал в лифте, все время боясь, что застрянем. Замкнутое пространство, опять духота, а то и свет погаснет... Поди пойми, что делать и сколько ждать, пока вытащат.

А тетя Ира как-то умудрилась заметить, что я и лифта боюсь, и, пока ехали, все усмехалась:

— Здоровый лоб, всего боится! Эх, нелегко тебе в армии будет!

И папа даже не выдержал как-то и сказал:

— Ир, разберемся с армией, что ты, ей-богу, пацана застрашала, он и так всего боится!

Ну да, он разберется. Когда есть знакомые в армии и сам в ней служишь, можно договориться. Например, в военный оркестр. Но для этого надо быть музыкантом, а я ведь...

В общем, буду заканчивать. И так разоткровенничался до невозможности...

Знаешь, Соня, наверное, нет ничего важнее, чем быть таким, какой ты есть. Не притворяться, не выдумывать себя, а просто — быть. Примут тебя, не примут — неважно. Надо быть собой. Тем более когда не собой все равно не получается. И ты можешь меня не принять после этого письма и замолчать, и я все пойму, даже не переживай. Но мне, видимо, нужно было выговориться. Мне нужно быть собой хоть с кем-то.

В любом случае желаю твоему папе найти своего папу, и у мамы твоей пусть все будет хорошо, и у бабушки... Хоть он и противный, говоришь... Пусть все у всех будет хорошо.

*Серафим*